

Террор любовью

ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ

Повесть

Мы носимся по двору. Играем в лапту. Моя сестра Ленка — приземистая и прочная, как табуретка, в желтом сарафане с желтыми волосами. Она быстро бегает, ловко уворачивается, метко бьет. Очень ценный член команды.

Я — иссиня черноволосая, с узкими глазами, похожа на китайчонка. Я способна победить любого врага, но при условии: чтобы все это видели. Мне нужна слава. Просто победа для себя мне неинтересна. Тщеславие заложено в мой компьютер.

Третья в нашей команде — Нонна, дочка тети Тоси. Мы все живем в одной коммуналке. Нонна отличается от всех детей во дворе. В ее косички вплетены бусинки, у нее сложное платье с кружевными вставками. Она — как сувенирная кукла, хорошенькая, изящная, и при этом — сообразительная. Нонна умеет предугадывать ходы противника. В ней есть качества, необходимые для победы.

Мы носимся, заряженные детством, азартом, жаждой победы. А на дворе меж тем послевоенный сорок шестой год. Поговаривают, что в седьмом подъезде из людей варят мыло. Сначала, естественно, убивают, а потом уж варят и продают на рынке. Правда это или нет — неизвестно.

Во время блокады практиковалось людоедство. Люди — продукт. Их можно есть и варить на мыло.

Однажды мы с сестрой шли мимо третьего подъезда и какая-то нестарая женщина попросила нас под-

няться на пятый этаж и спросить: увезли ли больного в больницу.

— Я бы сама поднялась, — сказала женщина. — Но у меня нога болит.

Мы с сестрой отправились вверх по лестнице, но где-то в районе третьего этажа нам надоело. Сестра предложила:

— Давай скажем, что увезли...

Мы вернулись обратно и сказали женщине:

— Увезли.

И пошли себе. Мне показалось: она удивилась.

Скорее всего, она удивилась тому, как быстро мы обернулись. Но вдруг она послала нас на мыло... Я до сих пор помню ее удивленное лицо.

Мы носимся, играем. Мы почти побеждаем. Еще чуть-чуть...

В окнах одновременно возникают лица наших матерей.

— Нонна! Обедать! — кричит тетя Тося.

— Девочки, домой! — кричит наша мама.

У тети Тоси лицо бледное и вытянутое, как огурец. А у нашей мамы круглое и яркое, как помидор. Обе они — тридцатилетние, красивые и безмужние.

Мой отец погиб на войне, а у Нонны умер вскоре после войны от тяжелого ранения. «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем...» Эти стихи Семена Гудзенко я прочитала много позже. А тогда... тогда моя мама любила повторять: «Я вдова с двумя ребятами...» Так оно и было.

Мы не хотим идти домой. У нас игра в разгаре. Но с нашей мамой шутки плохи. Она лупила нас рукой. Рука была как доска.

Мы понуро плетемся домой. Садимся за стол.

Мама приготовила нам воздушное пюре с котлетой. Прошло почти полвека, а я до сих пор помню эту

смуглую котлету с блестками жира и с запахом душистого перца. Я много раз в течение жизни пыталась повторить эту котлету и не смогла. Так же как другие художники не смогли повторить «Сикстинскую Мадонну», например.

Я думаю, моя мама была талантливым человеком. А талант проявляется в любых мелочах, и в котлетах в том числе.

Мама работала в ателье вышивальщицей. Вышивала карманы на детские платья. Ее никто не учил. Просто одаренность выплескивалась наружу. Мама брала работу на дом и в течение дня делала три кармана: земляничку с листочком, белый гриб на толстой ножке и мозаику. Мозаика — это разноцветные треугольнички и квадратики, расположенные произвольно. Если долго на них смотреть, кажется, что они сдвигаются и кружатся. Каждый карман — это замысел и воплощение. Творческий процесс. Цена этого творчества невелика. За каждый карман маме платили рубль. И когда мама что-то покупала в магазине, то мысленно переводила цену на карманы. Например, килограмм колбасы — три кармана. День работы.

Однажды мы с сестрой вернулись из театра на такси. Мы были уже девушки: пятнадцать и восемнадцать лет. Мать увидела, как мы вылезаем из машины. Такси — это два дня работы, двенадцать часов непрерывного труда. Мать не могла вытерпеть такого транжирства, но и сделать ничего не могла. Мы уже вылезли. Уже расплатились. Тогда она распахнула окно настежь и заорала громко, как в итальянском кино:

— Посмотрите! Миллионерки приехали!

Все начали оглядываться по сторонам. Мы с сестрой стояли как на раскаленной сковороде.

И еще мы знали, что получим по шее или по морде, что особенно больно, потому что рука как доска.

Но это было позже. А тогда мы — маленькие девочки, шести и девяти лет, в послевоенном Ленинграде. Мы едим котлету, а наши мысли во дворе: удар лаптой, мяч летит, Ленка бежит, Нонна наизготовке...

Иногда Нонна затевала театр.

Мы выбирали пьесу, разучивали роли и давали представление. Кулисами служила ширма. То, что за ширмой, — это гримерная. То, что перед ширмой, — сцена.

Мама и соседи усаживались на стулья, добросовестно смотрели и хлопали.

Билеты, кстати, были платные, по двадцать копеек за билет. Я помню, как выходила на сцену, произносила свой текст и купалась в лучах славы. Слава невелика, семь человек плохо одетой публики, но лучи — настоящие. Я помню свое состояние: вот я перед всеми и впереди всех, на меня все смотрят и внемлют каждому слову. Я — первая.

Откуда это желание первенства? Наверное, преодоление страха смерти, инстинкт самосохранения. Выделиться любой ценой и тем самым сохраниться. «Нет, весь я не умру...» А иначе непонятно: почему все хотят быть первыми. Не все ли равно...

Спектакль идет. Наши мамы незаметно плачут. Им жалко своих девочек — сироток, растущих без отцов. И себя жалко, брошенных на произвол судьбы. Мужья на том свете, им теперь все равно. А мамам надо барахтаться, и карабкаться, и преодолевать каждый день.

Мы ели однообразную пищу, но никогда не голодали. Мы росли без отцов, но не испытывали сиротства. Наши матери были далеки от педагогики, но они любили нас всей душой. А мы любили их. Не знаю, были ли мы счастливы. Но несчастными мы не были — это точно.

А вот наши мамы...

Папа погиб где-то далеко. Написали: смертью храбрых. Может быть, это какая-то особенная, приятная смерть...

Папин брат дядя Леня прислал маме траурную открытку: черное дерево с обрубленными ветками и одинокая пустая лодка, приткнувшаяся к дереву. И надпись: «Любовная лодка разбилась о быт...» Мама смотрела на открытку и плакала. Дерево с обрезанными ветками — это папина жизнь, прекратившаяся так рано. А одинокая лодка — это мама. Быт — ни при чем. Любовная лодка разбилась о Великую Отечественную войну.

Мама плакала, глядя на открытку. В этот момент вошла моя сестра Ленка, постояла и пошла себе, при этом запела своим бесслухим голосом. Точнее сказать — загудела на одной ноте.

Мама отвлеклась от открытки и сказала с упреком: — Наш папочка погиб, а ты поёшь...

Ночью я проснулась оттого, что горел свет. Мама и Ленка плакали вместе, обнявшись.

Это было два года назад, в эвакуации. Я помню деревянную избу, и вой волков, и веселый огонь в печке.

Дядя Павел, муж тети Тоси, вернулся с войны живым, но после тяжелого ранения. У него оторвало то место, о котором не принято говорить, и он не мог выполнять супружеские обязанности.

Тетя Тося не мирилась с положением вещей: вдова при живом муже. Она устраивала дяде Павлу скандалы, как будто он был виноват, и все кончилось тем, что тетя Тося стала приводить в дом мужчину, а дядя Павел и Нонна сидели в это время на кухне. Он держал перед глазами газету, но не читал.

А потом дядя Павел слег. Мы бегали в аптеку за кислородной подушкой. Ничего не помогло. Он умер. Умер он тихо. Стеснялся причинить беспокойство.

Тетя Тося поняла запоздало, какой это был хороший человек, в отличие от ее ухажеров, имеющих в наличии.

Дядя Павел больше жизни любил свою дочь Нонну, и не просто любил — обожествлял. И в этом они совпадали с тетей Тосей. А для всех остальных ухажеров Нонна была пустым местом, и даже хуже, поскольку мешала.

После смерти дяди Павла тетя Тося пошла работать крановщицей. Однажды ей понадобилось подписать какой-то документ. Она вошла в цех и отправилась в кабинет к начальнице.

Кабинет располагался в углу цеха — это была фанерная выгородка, над фанерой стекло, чтобы проникал свет.

Тетя Тося постучала в дверь. Ей не открыли, хотя она чувствовала: за дверью кто-то есть. Тишина бывает разная. Это была тишина притаившихся живых существ. Насыщенная тишина.

Тетя Тося снова постучала. Послушала, затаив дыхание. Но похоже, что и там затаили дыхание.

Тетя Тося подтащила к фанерной выгородке стол, на стол воздвигла стул и полезла, как на баррикаду. Ее глаза оказались вровень со стеклом. А за стеклом происходило что-то совершенно непонятное.

Тетя Тося обескураженно смотрела и считала количество ног. Вообще-то, ног было четыре штуки, по две на человека. Но тете Тосе показалось, что их гораздо больше, а посреди всего этого переплетения — голый зад.

— Жопа, — определила она и крикнула: — Зин!

Подошла ее сменщица Зина.

— Чего тебе? — спросила Зина.

— Там жопа.

— Чья?

— Не знаю...

Зина полезла на стол, привстала на цыпочки. Ее роста хватило, чтобы заглянуть в стекло.

— Это Колька, — узнала Зина.

— Колька худой. Он туберкулезник. А этот упитанный... — не поверила тетя Тося.

Возле фанерной выгородки стали собираться люди. Народ всегда собирается там, где что-то происходит.

Позже начальница цеха Клава Шевелева скажет тете Тосе:

— Какая же ты сволочь, Тося...

— Это почему? — искренне не поняла тетя Тося.

— Ты тоже молодая и без мужа. Могла бы сочувствие поиметь.

— А зачем на работе? Что, нет другого места?

— Значит, нет.

Тетя Тося подумала и сказала:

— Я за правду...

Правда тети Тоси состояла в том, что она пришла подписать документ, ей не открыли. Она заглянула и увидела жопу. Вот и вся правда. И это действительно так. А такие понятия, как деликатность, сочувствие, — это оттенки, не имеющие к правде никакого отношения.

Вернувшись с работы, тетя Тося рассказала эту животрепещущую историю моей маме.

Разговор происходил на коммунальной кухне. Мама варила перловый суп — нежный и перламутровый. Мамины супы были не только вкусны. Они были красивы.

— А если бы ты оказалась на ее месте? — спросила мама, пробуя суп с ложки.

— С Колькой? — удивилась тетя Тося.

— И твое имя полоскали бы на каждом углу?

— Плевать! — Тетя Тося даже сплюнула для наглядности. — Пусть говорят что хотят. За себя я не расстраиваюсь. Но за Нон...

— Дай луковичку, — перебила мама.

Тетя Тося достала из кухонного шкафчика и протянула маме круглую золотую луковицу.

— Но за Нон... — продолжила она начатую мысль.

— Дай перчику, — снова перебила мама.

Для мамы был важен супчик, а для тети Тоси — любовь к дочери. Нонна — это святое.

— Но за Нон... — попыталась тетя Тося в очередной раз.

— Дай соли, — перебила мама.

Тетя Тося схватила свою солонку и вывернула ее в мамин суп.

Мама обомлела. Дети ждали обед. И что теперь?

Мама вцепилась в волосы лучшей подруги. Тетя Тося отбивалась как могла. Соседка Софья Моисеевна делала вид, что ничего не происходит. Держала нейтралитет. Она знала, что через час эти гойки помирятся и будут пить крепленое вино.

Так оно и было.

В квартире водились крысы. Их пытались извести, но крысы оказались не глупее, чем люди.

Однажды в крысоловку все же попала молодая сильная крыса. Я стояла и рассматривала ее. Мордочка, как у белки, но хвост... У белки хвост нарядный, пушистый, завершающий образ. А у крысы — голый, длинный, вызывающий омерзение.

Крыса нервничала в крысоловке, не ожидая от людей ничего хорошего.

И была права.

Моя мама поставила крысоловку в ведро и стала лить в ведро воду. Она решила крысу утопить.

До сих пор не понимаю, почему мама не выпроводила меня из кухни, не освободила от этого зрелища. Прошло полвека, а я до сих пор вижу перед собой розовые промытые пальчики крысы, которыми она хваталась за прутья крысоловки, взбираясь как можно выше. Как в тонущем корабле...

Моя мама жила как получалось. Без особой программы.

К ее берегу прибило двух женихов, оба Яшки. Одного мы звали «Яшка толстый», а другого «Яшка здохлый».

Толстый заведовал мебельным магазином. Мама решила воспользоваться случаем и обновить мебель в нашей квартире. Яшка помог, но скоро выяснилось, что он помог в свою пользу. Мама была обескуражена. Ходила и пожимала плечами. Обмануть — это понятно. Торгаш есть торгаш. Но обмануть любимую женщину, почти невесту, вдову с двумя ребятами...

Яшка-толстый получил отставку.

Второй Яшка был болезненно худой. Но основной его недостаток — десятилетний сын. Чужой мальчик, которого мама не хотела полюбить. Она умела любить только своих и не скрывала этого.

Второй Яшка растворился во времени. Скорее всего, мать не любила Яшек, ни одного ни другого. Настоящее чувство пришло к ней позже. Это был Федор — брат тети Тоси, капитан в военной форме. Федор — молодой, тридцатилетний, рослый, с зелеными глазами на смуглом лице. Такие были тогда в моде. О таких говорили: «душка военный». Статная фигура, прямая спина, брюки галифе, погоны на кителе.

Сейчас в моде совсем другие мужчины, и совсем другие аксессуары сопровождают секс-символ. Например, «мерседес»... А тогда...

Зеленые глаза и крупные руки свели нашу маму с ума. В доме постоянно звучал патефон, сладкий тенор выводил: «Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся желаний...»

По вечерам мать куда-то исчезала. Мы с сестрой оставались одни.

Однажды мы собрались лечь спать и вдруг увидели, как под одеялом катится ком. Мы поняли, что это крыса. Как же мы ляжем в кровать, где крыса... Мы стали кидать на кровать стулья, книги — все, что попало под руку. Ком остановился. Крыса затихла. Может, мы ее оглушили или даже убили.

Мы смотрели на кровать и тихо выли. Нам было страшно от двустороннего зла: зла, идущего от хищной крысы и от содеянного нами.

Вошла тетя Тося. Увидела несчастных плачущих детей и стала нас утешать, обнимать, смешить. И даже принесла нам хлеб со сгущенкой на блюдечке. Это и сейчас довольно вкусно. А тогда... Мы забыли про крысу и про свой страх.

Тетя Тося откинула одеяло. Бедный полуобморочный зверек сполз на пол и тут же растворился. Видимо, под кроватью у крысы был свой лаз, своя нора с детьми и мужем, красивым, как дядя Федор.

Мамина любовь продолжалась год. Целый год она была веселая и счастливая. А потом вдруг Федор женился. И привел свою новую, слегка беременную жену к тете Тосе. Познакомить. Все-таки родня.

Тетя Тося накрыла стол и позвала маму, непонятно зачем.

Все уселись за один стол. Федор прилюдно обнимал свою молодую жену и пространно высказывался, что лучше иметь одного своего ребенка, чем двоих чужих. И все хором соглашались, а тетя Тося громче всех.

Мама сидела, опустив голову, как будто была виновата в том, что у нее дети и она не годится такому шикарному Федору.

Мама встала и вышла из-за стола. Ушла в коридор, а оттуда на лестничную площадку. Она стояла и плакала, прижав головой к стене. Этот подлый Федор прирос к ней, а его отдирали, и невидимая кровь текла рекой.

На другой день мама сказала тете Тосе:

— Какая же ты сволочь!

— Так я же сестра, — спокойно возразила тетя Тося.

Сестра всегда на стороне брата, и родные племянники лучше, чем приемные. Это правда. А такие мелочи, как дружба, сострадание, — это оттенки, не имеющие к правде никакого отношения.

У тети Тоси тоже ничего не получалось с личной жизнью. Короткое счастье заканчивалось подпольным абортom. Аборты были запрещены. Их делали на дому под покровом ночи.

Нонна притворялась, что спит. Но она все слышала: железное позвякивание пыточных инструментов, тяжелые вздохи, сдавленные стоны...

А где-то далеко-далеко текла совсем другая жизнь. Где-то у кого-то были родные папы, отдельные квартиры и шоколадные конфеты. Можно было есть конфеты и нюхать обертки. О! Как пахнут обертки от шоколадных конфет!

В пятьдесят третьем году умер Сталин. Мы втроем собрались ехать в Москву: я, Ленка и Нонна. Мы собрались проводить вождя и учителя в последний путь, но наша мама вмешалась, как обычно. Мы все получили по увесистой оплеухе! И Нонна в том числе. Оплеуха решила дело.

Мы никуда не поехали и довольно быстро успокоились. Умер и умер. Что же теперь, не жить?

Мы забежали в трамвай — радостные и легкомысленные. Люди сидели и смотрели на нас молча и отстраненно. Стояла тяжелая тишина, как будто горе случилось не где-то на даче Сталина, а у каждого в доме. Смерть вождя воспринималась как личная трагедия.

Нонна хохотала над каким-то пустяком, я даже помню над каким: Ленка простодушно пукнула. Мы покатались со смеху. А народ в трамвае смотрел на нас без осуждения, скорее с состраданием. Вся страна осталась без поводыря — и куда мы забредем в ночи?

Время в этом возрасте тянется долго. Каждый день — целая маленькая жизнь. И казалось, что мы никогда не вырастем и наши мамы никогда не постареют. Все всегда будет так, как сейчас.

Я училась без особого удовольствия, но все же выполняла свои школьные обязанности. Если надо, значит, надо. Я не представляла, как можно прийти на урок, не сделав домашнего задания.

Моя сестра Ленка делала только то, что ей нравилось. Она садилась заниматься, клала на стол учебник, а на колени интересную книгу. Могла сидеть не двигаясь по три-четыре часа. Мама думала, что Ленка грызет гранит науки, а она просто читала «Сестру Керри». В результате Ленка получала двойку в четверти. Мама бежала в школу, двойку меняли на тройку. Считалось, что Ленка «не тянет». Но Ленка не была глупее других. Просто она научилась перекладывать свои проблемы на чужие плечи. И у нее это хорошо получалось. Мама бегает, учителя машут руками, общий переполох. А Ленка стоит рядом с сонным выражением лица и точно знает: все обойдется. Поставят тройку, и переведут в другой класс, и выдадут аттестат зрелости. И при этом не надо уродоваться, зубрить, запоминать то, что никогда потом не пригодится, типа

« a плюс b в квадрате равно a квадрат плюс два ab , плюс b квадрат...».

Нонна училась с блеском. Тетя Тося тихо торжествовала. Иногда она изрекала в никуда: «Из картошки ананаса не вырастет...» Получалось, что наша мама — картошка, а тетя Тося — ананас.

Соперничество между мамой и тетей Тосей было скрытым, но постоянным, как субфебрильная температура.

Мы жили лучше, потому что мама больше крутилась. Она работала в ателье и брала работу на дом, имела частные заказы. Сколько я ее помню, она всегда сидела у окна, опустив голову, с высокой холкой, как медведица. И ее рука ходила вслед за иглой, вернее, иглка вслед за рукой.

Однажды я проснулась в шесть утра, мать уже сидела у окна, делая свои челночные движения рукой. Она жила, не разгибая спины, не поднимая головы, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год...

А тетя Тося просто шла на свою малооплачиваемую работу и просто возвращалась домой. Она не пыталась искать другое место, не искала дополнительного заработка. Тетя Тося кляла эту жизнь, но не боролась. Как идет так идет.

И результат давал себя знать. Мы ели сытнее, одевались более добротнее. Иногда мама делала внушительные покупки: телевизор с линзой например. Тетю Тосю это царапало. Она поносила маму за глаза, называя кулачкой и хабалкой. Соседи доносили маме. Происходило короткое замыкание, и вспыхивал пожар большого скандала. И выданные волосы — желтые мамины и темно-русые тети-Тосины — летели плавно по всему коридору.

Соседи не вмешивались. Они знали, что летняя гроза прошумит и к вечеру выглянет промытое сол-

нышко. И просветлевшие соседки будут пить крепленое вино. И в самом деле: что им делить? У них была общая участь послевоенных женщин. Молодая жизнь уходила, как дым, в трубу.

В двенадцать лет я заболела ревмокардитом и по нескольку месяцев лежала в больнице. В результате я полюбила медицину и мечтала стать врачом.

Ленка не мечтала ни о чем. Жила себе и жила, как собака-дворняга. Хотя у собак всегда есть идея: любовь и преданность своему хозяину. Значит, Ленка — не собака. Другой зверь. Может быть, медведь — спокойный и сильный с длительной зимней спячкой.

Нонна мечтала только об одном — быть артисткой. Ее манило перевоплощение, возможность прожить много жизней внутри одной жизни; изысканно развратная дама с камелиями, ни в чем не повинная Дездемона, идейная Любовь Яровая и так далее — нескончаемый ряд. Невидимый талант стучался в ней, как ребенок во чреве. Но больше всего она хотела сменить среду обитания. Туда, где отдельные квартиры, яркие чувства, возвышенные разговоры. Туда, где слава, любовь и богатство. И благородство. Ну кто же этого не хочет?

Нонна самостоятельно нарыла какой-то драматический кружок и ездила туда на трамвае. А к вечеру возвращалась. Ее провожал намертво влюбленный черноволосый мальчик Андрюша.

Помню картинку, которая впечаталась в мою память: Нонна приближается к дому, ей в лицо дует сильный ветер, оттягивает волосы. Платье подробно облепляет ее тело — бедра, ноги и устье, где ноги сливаются, как две реки. Ничего лишнего, только симметрия, законченность и изящество. Маленький шедевр. Устье — как точка. Создатель поставил точку.